

A close-up portrait of a woman with long, wavy brown hair and striking blue eyes. She is wearing a brown leather jacket and a dark green, textured knit scarf with small red berries. The background is a blurred, light blue-grey color, suggesting an outdoor setting. The text "Ольга Орлова" is centered at the top, and "Берег" is at the bottom.

Ольга Орлова

"Берег"

# Ольга Орлова

## "Берег"

<https://litres.ru/73919691>

SelfPub; 2026

### Аннотация

Она лечила чужих детей. Но двадцать лет убивала себя.

Инна — блестящий педиатр. Она собрана, иронична и всегда держит удар. Коллеги уважают, пациенты доверяют. За этой броней — многолетняя война с собственным телом. С едой. С голодом, который она научилась не замечать. С долгом перед родителями.

В университете Инна падает в обморок посреди лекции. В темноте приходит ОНА — девочка с злыми глазами, которая ждёт её на холодном берегу. От этого видения не спасают ни диеты, ни режим, ни любовь молчаливого однокурсника Петра.

Взрослая жизнь приносит брак, квартиру и повторяющиеся выкидыши. Весы показывают лишние килограммы, холодильник становится полем битвы, а брак умирает в тишине невысказанных обид.

Но самая страшная правда построена на многолетнем страхе быть собой.

«Берег» — роман-исповедь о том, как полюбить тело, которое ты предавала годами. О стыде, который передаётся из поколения

в поколение. И о том, что путь к себе лежит через самую тёмную чашу, где тебя уже давно ждут.

# Ольга Орлова

## "Берег"

### Глава 1. Коридор

Я шла быстро. Слишком быстро для человека, который не спал уже больше суток.

Пол под ногами был натерт до мутного блеска, свет из высоких окон ложился на него бледными холодными полосами. В этих полосах пылило утро — серое, сонное, ноябрьское. Студенты стекались на пары с помятыми лицами, злыми или равнодушными. Кто-то ел на ходу булку, кто-то дописывал что-то в телефоне, кто-то уже смеялся слишком громко, как это бывает, когда человек тоже не выспался и держится на одном энтузиазме.

Я держалась лучше.

По крайней мере, со стороны.

На мне был темно-синий свитер с закатанными до локтей рукавами, черные джинсы и белый халат, небрежно перекинутый через руку. Волосы собраны в низкий хвост — не потому, что красиво, а потому, что так не мешают. Под глазами залегли тени, кожа на лице стала какой-то особенно тонкой, но осанка оставалась прямой, шаг твердым, а выражение лица тем самым, после которого обычно никто не решался за-

давать лишние вопросы.

В правой руке я несла папку с конспектами, в левой термос с кофе. Пальцы на термосе застыли так крепко, будто он был не с кофе, а с последней возможностью не отключиться прямо здесь, у стены, под расписанием занятий.

В висках слегка стучало, во рту пересохло — ерунда, ничего особенного. Внутри было то неприятное ощущение пустоты, от которого тело делается одновременно тяжелым и ватным, но я уже давно научилась не обращать на это внимания. Тело вообще любило устраивать саботаж, если слишком к нему прислушиваться. Поэтому я и не прислушивалась.

Из-за поворота вышел Петр.

Он шел, уткнувшись в телефон, как всегда чуть сутулясь, будто извинялся перед пространством за то, что занимает в нем место. Светло-серая толстовка, темная куртка нараспашку, вечно растрепанные волосы, которые он, кажется, никогда не укладывал специально, просто вставал и шел в мир таким, какой есть. В этом было что-то бесконечно его. Что-то, что меня временами раздражало и почему-то цепляло.

Увидев меня, он поднял голову и сразу остановился.

— Ого, — сказал он. — Инна.

— Какая неожиданность, — отозвалась я, не замедляя шаг. — Я, оказывается, существую.

Он пристроился рядом.

— Ты как?

— Жопой об косяк, — ответила я. — А что?

Он не улыбнулся сразу. Сначала внимательно посмотрел на меня, слишком внимательно.

Я терпеть не могла этот взгляд. Не жалостливый, нет. Просто внимательный. Как будто он видел чуть больше, чем ему полагалось.

— Ты вообще спала? — спросил он.

— Конечно, — сказала я. — В лифте. Минуты полторы. Полна сил, свежа, как майская роза.

Теперь он все-таки усмехнулся, но глаза остались тревожными.

— Я серьезно.

— Я тоже. Полторы минуты — это роскошь.

Мы шли мимо окон, мимо скамеек, на которых кто-то сидел, уткнувшись в конспект, мимо кафедры анатомии с закрытой дверью, мимо доски объявлений, где пожелтевшие листки наслаивались друг на друга так давно, что казались уже частью стены.

Петр молчал пару секунд, потом сказал:

— Ты плохо выглядишь.

Я повернула к нему голову.

— Ты тоже сегодня не Ален Делон.

— Я не в этом смысле.

— А я именно в этом.

Он выдохнул через нос, как человек, который заранее знал, что разговор будет вот таким.

— Тебе бы отдохнуть, — сказал он мягче. — Правда. Я

могу отмазать тебя на лабораторной. Скажу, что тебя дернули вместо меня, или что ты у методистов, или еще что-нибудь придумаю. Иди в общагу, поспи пару часов.

Я остановилась.

Не резко, но так, что он тоже вынужден был остановиться.

Мимо нас кто-то прошел, задев меня локтем, кто-то громко рассмеялся у лестницы, где-то хлопнула дверь. Коридор жил своей обычной жизнью, а между нами, на секунду повисла та особая пауза, в которой уже не до шуток.

Я посмотрела на Петра снизу вверх. Он был почти одного со мной роста, может, чуть выше, но сейчас почему-то казался слишком высоким.

— Петя, — сказала я почти ласково, и это всегда было плохим знаком. — Ты сейчас серьезно решил, что я из тех, кого можно отправить поспать, как первокурсницу после вписки?

— Я сейчас серьезно решил, что ты еле стоишь.

— Я стою лучше многих.

— Инна...

— Нет, — сказала я уже тверже. — Не надо меня спасать. Особенно с утра. Особенно в университете. Особенно от усталости. Я на фоне некоторых тут вообще образец жизненной неспособности.

Уголок моего рта дернулся вверх в той самой легкой полуулыбке, в которой было и превосходство, и самоирония, и усталость, и скрытое: только попробуй пожалеть.

Петр помолчал.

— Я не пытаюсь тебя обидеть, — сказал он наконец.

— А я и не обиделась.

— Просто ты...

— Просто я что?

Он снова замолчал. И я уже знала, что он сейчас скажет что-нибудь ненужное. Что-нибудь про то, что нельзя так загоняться. Что-нибудь про здоровье. Что-нибудь человеческое и потому совершенно невыносимое.

Но Петр сказал иначе:

— Просто ты как будто все время идешь одна против какого-то невидимого танка.

Я моргнула.

Надо же. Не такой дурак, как местами выглядит.

— И что? — спросила я.

— И ничего. Просто танки обычно побеждают.

— Только если их бояться.

— А ты не боишься?

Я хмыкнула, поправила папку под мышкой и пошла дальше.

— Я? — сказала я через плечо. — Петя, я в этой жизни боюсь только двух вещей: тупых педиатров и растворимого кофе. Все остальное переживаемо.

Он догнал меня за несколько шагов.

— У тебя руки дрожат, — сказал он тихо.

Я посмотрела на свою левую руку, сжимавшую термос.

Пальцы и правда едва заметно дрожали. Я сильнее стиснула их.

— От холода.

— В коридоре тепло.

— Значит, от злости. Ты меня утомил.

Петр сунул руки в карманы и замолчал.

Так мы дошли почти до самой аудитории.

Я чувствовала, как с каждым шагом внутри становится все пустее, будто кто-то вычерпывает меня ложкой изнутри, но упрямо не сбавляла темпа. Тело хотелось выключить из сознания, как выключают назойливую музыку в соседней комнате. Оно мешало. Оно все время чего-то хотело: спать, есть, лечь, перестать. Слишком много требований для такой ненадежной конструкции.

В конце коридора висело большое зеркало в темной раме — старое, слегка мутное. В него обычно никто особенно не смотрелся, потому что утром все и так знали, что выглядят плохо. Но я скользнула по нему взглядом.

На секунду мне показалось, что в отражении я движусь чуть медленнее, чем на самом деле.

Ерунда.

Недосып.

Я перевела взгляд и увидела себя так, как увидел бы любой другой: тонкое лицо, темные круги, собранные волосы, прямой подбородок, глаза чуть ярче обычного — от усталости, конечно. И все равно вид вполне рабочий.

Не разваливаюсь же. Значит, все нормально.

— Последний шанс, — сказал Петр. — Я вполне убедительно вру, между прочим.

Я фыркнула.

— Это да. Лицо у тебя честное, как у преподавателя латыни. Никто не заподозрит.

Он чуть улыбнулся.

— Так что?

Я остановилась у двери аудитории, взялась за ручку и только тогда посмотрела на него по-настоящему прямо.

— Слушай меня внимательно, красавчик, — сказала я негромко. — Я не падаю. Не разваливаюсь. Не ною. И если я однажды скажу, что мне нужна помощь, ты об этом узнаешь без всяких двусмысленных намеков. Но сегодня, к счастью для всех, такого исторического события не произойдет.

Петр смотрел на меня долго. Потом кивнул.

— Ладно, — сказал он.

И добавил, уже совсем тихо:

— Тогда хотя бы не геройствуй лишнего.

— Я не геройствую, — отрезала я. — Я живу.

Я толкнула дверь и шагнула внутрь.

Из аудитории сразу ударило теплом, голосами, запахом бумаги, ручек, дешевого парфюма и чьих-то мандаринов. Кто-то махнул мне рукой, кто-то уже спорил о билетах, кто-то дописывал домашнее задание в последний момент.

Я кивнула кому-то в ответ и пошла между рядами.

И в этот момент пол под ногами как будто едва заметно качнулся.

Я не остановилась.

Только сильнее сжала термос и чуть выпрямила спину.

Никто ничего не заметил.

И хорошо.

## **Глава 2. Нормальная жизнь Инны**

Будильник прозвенел в шесть двадцать.

Я открыла глаза сразу, как будто и не спала вовсе, а просто на какое-то время закрыла веки, чтобы они не пересохли. В комнате общежития было темно, душно и тихо. Соседка на второй кровати сопела, уткнувшись носом в стену, за окном шуршал редкий дождь, а батарея под подоконником еле теплела, словно тоже не очень хотела включаться в этот день.

Я полежала несколько секунд, глядя в потолок.

Тело было тяжелое. Виски ломило. Во рту пересохло, как после бессонной ночи в приемном. Под левой лопаткой тянуло тупо и неприятно, кажется, вчера опять долго стояла в неудобной позе, пока перестилала пациента. Ноги гудели, хотя я лежала.

Ну и что.

Я откинула одеяло, сразу нащупала ступнями холодный пол и села. В голове слегка качнулось. Не сильно. Ничего такого, на что стоило бы тратить внимание.

На стуле у кровати с вечера лежали аккуратной стопкой вещи: темные джинсы, синий свитер, носки, белье. На сто-

ле — раскрытый конспект по педиатрии, рядом пачка ручек, два маркера, полуобглоданное яблоко и телефон, поставленный на беззвучный режим.

Телефон мигал.

Три сообщения от старосты. Одно — от Петра. Пять пропущенных от матери.

Я машинально взяла телефон и, прежде чем посмотреть время, нажала на имя матери.

Та ответила сразу. Конечно.

— Ну наконец-то, — сказала Екатерина Александровна таким голосом, будто я не спала, а нарочно где-то шлялась. — Я уже думала, ты решила исчезнуть.

Я встала, нащупывая носком тапок.

— Доброе утро, мам.

— У кого как. Я-то уже с шести на ногах.

Я посмотрела на экран.

Было шесть двадцать три.

— Мам, сейчас шесть утра.

— И что? Нормальные люди в это время уже живут, а не валяются.

Я промолчала. Вытянула из-под стула спортивную сумку, достала из нее полотенце и пошла к чайнику.

На общей кухне в такое время всегда было особенно пусто. Только тусклая лампа под потолком, запах старого линолеума, вчерашнего супа и заварки, прилипшей к краю чьей-то кружки. Я поставила чайник, прижала телефон плечом к

уху и открыла банку с кофе.

— Я тебе вчера звонила, — продолжала мать. — И позавчера тоже, между прочим.

— Я была на смене.

— У тебя вся жизнь теперь одна сплошная смена. Не понимаю, зачем ты себя так гробишь, если честно. Нормальные дети обычно живут тем, что родители присылают, а ты все как будто на себе мир держишь.

Я зачерпнула ложку кофе. Потом вторую.

— Так присылай, — чуть улыбнувшись, сказала я.

Екатерина Александровна фыркнула.

— Не дерзи мне с утра. Я не об этом. Я о том, что тебе уже надо как-то разумнее относиться к себе. Ты же будущий врач, а не грузчик в порту.

Я молчала.

Я слишком хорошо знала этот тон. Сейчас будет просьба. Или поручение. Или что-то, от чего невозможно отказаться так, чтобы потом не чувствовать себя сволочью.

Чайник зашумел.

— Ты завтра приедешь? — спросила мать как бы, между прочим.

Вот и оно.

— После пар — на смену, — сказала я, насыпая сахар в термос. — Потом утром снова пары.

— Инна.

И опять этот тон. Почти ласковый. Самый опасный.

— Ну что, мам?

— Мне одной не справиться со шторами.

Я закрыла глаза.

Конечно.

Шторы.

Не пожар, не болезнь, не срочная операция. Шторы.

— Какие шторы? — спросила я, уже зная, что все равно поеду.

— Те, что в большой комнате. Я их постирала, нужно повесить обратно. Там карниз тяжелый, сама я не полезу, еще грохнусь. А твоего отца, как всегда, не допросишься. Он вчера опять до ночи со своими бумажками сидел. У него, видите ли, мысль пошла. Как будто мысль нельзя отложить на час и помочь жене.

Я перелила кипяток в термос. Горячий пар ударил в лицо.

— Завтра вечером? — уточнила я.

— Ну а когда еще? Не ночью же.

— Перед сменой приеду.

— Поздно.

— Как смогу.

— Инна, — сказала мать уже чуть суше, — я не понимаю, почему с тобой надо все вытягивать клещами. Я же не для себя прошу. Это наш дом. Ты в нем, между прочим, выросла.

Я сделала вдох. Медленный. Через нос.

— Я приеду, мам.

Пауза.

Мать сразу смягчилась.

— Вот и хорошо, — сказала она. — Я же знаю, что на тебя можно положиться. Не то что на некоторых.

«Некоторые» означали отца».

Почти всегда.

— Ты ешь хоть что-нибудь? — спросила Екатерина Александровна уже другим, почти заботливым голосом.

Я отвинтила крышку термоса, вдохнула горький запах кофе.

— Ем.

— Смотри мне. А то потом опять круги под глазами, лицо серое, ходишь как привидение. Врач должен выглядеть прилично. На тебя же люди будут смотреть.

Я усмехнулась без звука.

Конечно.

Люди.

Они всегда где-то смотрели. Даже когда никого не было.

— Ладно, — сказала мать. — Не опоздай. И не забудь документы на ту справку, про которую я тебе говорила.

— Не забуду.

— И позвони, как освободишься.

— Угу.

— Не «угу», а нормально скажи.

— Хорошо.

— Вот так-то лучше.

Связь оборвалась.

Я несколько секунд стояла с телефоном в руке и смотрела в темное окно. За стеклом капал дождь. Внизу, у крыльца общежития, желтый фонарь освещал мокрый асфальт и две лужи, похожие на провалы.

На кухню зашла какая-то девочка с третьего этажа, сонная, в пижаме с медведями, не глядя сунула чайник под кран и зевнула так широко, будто ей за это платили.

— Доброе, — пробормотала она.

— Угу, — сказала я.

Девочка снова зевнула и ушла.

Я налила кофе в термос. Кофе был крепкий, почти черный, пах злостью и бессонницей. Именно как надо.

Вернувшись в комнату, я начала собираться уже быстрее. Зубы. Лицо холодной водой. Свитер. Джинсы. Носки. Конспекты в папку. Ручки в боковой карман. Пауэрбанк. Пропуск. Зарядка. Перекус?

Я открыла ящик стола.

Там лежали батончики, яблоко и шоколадка, засунутая туда еще неделю назад.

Я посмотрела на все это и захлопнула ящик.

Потом снова открыла. Взяла яблоко. Повертела в руке. Положила обратно.

Не хотелось.

Или хотелось, но как-то все не то.

Я сунула в сумку только упаковку батончиков, на всякий случай, чтобы потом не слушать от самой себя, какая я иди-

отка.

Соседка зашевелилась на кровати.

— Инн... — сипло позвала она из-под одеяла. — Ты вообще спала сегодня?

— Ага.

— Сколько?

— Достаточно.

— У тебя лицо, как у патологоанатома после дежурства.

— Это потому, что я стремлюсь к профессиональному росту.

Соседка слабо хохотнула и снова завернулась в одеяло.

Я застегнула сумку, накинула куртку и села на край кровати, чтобы надеть ботинки.

На секунду накатила такая усталость, что захотелось просто остаться так: в полусвете, на продавленном матрасе, со шнурком в руке, ничего не решать, никуда не идти, ни о ком не думать.

Просто не вставать.

Но эта мысль была из тех, которые нельзя развивать. Опасная. Размягчающая.

Я резко затянула шнурок.

Потом второй.

Телефон коротко мигнул.

Сообщение от Петра:

«Если ты опять не спала, я тебя сдам в отделение неврологии как клинический случай»

Я посмотрела на экран и невольно усмехнулась.

Пальцы быстро набрали:

«Не дождешься. Я бессмертна и очень красива»

Ответ пришел почти сразу:

«Одно из двух — точно неправда»

Я фыркнула.

Потом сунула телефон в карман и встала.

В зеркале на дверце шкафа мелькнуло мое лицо — бледное, собранное, с темными тенями под глазами и слишком прямым взглядом.

Нормальное лицо.

Рабочее.

Можно идти.

Я подхватила сумку, термос, папку с конспектами, проверила, взяла ли ключи, и вышла в коридор.

Дверь за мной захлопнулась с коротким сухим звуком.

В общежитии пахло пылью, хлоркой и чужими завтраками. Где-то уже включили воду в душе, кто-то ругался шепотом, кто-то хлопнул дверью туалета. День начинался.

Я шла к лестнице быстро, привычно, как человек, которому нельзя опаздывать ни в одну из своих жизней.

На площадке между этажами я вдруг остановилась и ухватила рукой за перила.

Совсем чуть-чуть.

Потому что мир на секунду качнулся.

Не страшно. Не сильно. Просто как будто пол поплыл на

полпальца в сторону.

Я крепче стиснула холодный металл.

Сделала вдох.

Потом выдох.

— Господи, ну только не начинай, — сказала я тихо, сама не зная, к кому обращаюсь — к телу, к утру или ко всей своей жизни сразу.

Через секунду отпустило.

Я выпрямилась, поправила сумку на плече и пошла дальше, уже быстрее.

До первой пары оставалось сорок минут. Потом практика. Потом больница. Потом конспекты. Потом, если повезет, часа три сна. Потом снова день.

Нормальная жизнь.

Моя жизнь.

### **Глава 3. Обморок**

К началу пары аудитория уже почти заполнилась.

Высокая, с тремя рядами старых деревянных парт, мутноватыми окнами и доской, по которой никогда до конца не стирался мел, она с утра казалась особенно холодной. Воздух был спертый, влажные куртки, чей-то слишком сладкий парфюм, кофе из пластиковых стаканчиков, мандарины, бумага, ручки, пыль. Все, как всегда. Ничего нового. Ничего, с чем нельзя справиться.

Я вошла одной из последних.

Кто-то махнул мне рукой с третьего ряда. Кто-то оклик-

нул:

— Инна, ты реферат распечатала?

Я подняла ладонь, не останавливаясь.

— Потом.

Голос у меня прозвучал нормально. Даже слишком нормально. Это немного успокаивало.

В правой руке была папка с конспектами, в левой — термос. Пальцы затекли от того, как крепко я все это держала. Хотелось разжать руку, встряхнуть кистью, закрыть глаза хотя бы на две секунды и перестать слышать этот ровный, давящий гул в ушах.

Но я шла.

Это было главное.

Просто дойти до места. Сесть. Открыть тетрадь. Пережить пару. Потом следующую. Потом смену. Потом все остальное.

По обе стороны прохода мелькали лица знакомые, полужаномые, сонные, оживленные. Чья-то куртка свисала с парты, чья-то нога торчала в проход. На первой парте кто-то уже разложил цветные маркеры, как будто собирался не слушать лекцию, а красиво оформлять собственное исчезновение.

Я смотрела чуть поверх всего этого.

Если смотреть прямо, начинало мутить.

Шум в ушах то усиливался, то на секунду стихал, а потом возвращался, как прибор. Под ложечкой тянуло неприятной пустотой. Кофе в термосе вдруг показался слишком тяжелым, слишком горячим, слишком бессмысленным.

Слева у окна преподаватель что-то перебирал в бумагах.

Я сделала еще несколько шагов.

Спокойно.

Нормально.

Сейчас дойдешь и сядешь.

Я даже попыталась улыбнуться девочке с параллели, которая глянула на меня с вопросом, будто хотела спросить, все ли со мной в порядке. Я улыбнулась так, как умела лучше всего — коротко, уверенно, чуть насмешливо.

Все прекрасно. Не дождетесь.

Мир качнулся.

Совсем немного.

Как будто кто-то взял аудиторию и легонько сдвинул ее в сторону, а потом вернул обратно.

Я остановилась на секунду и глубоко вдохнула.

Воздух в легкие вошел резко, холодно, но легче не стало.

Только теперь еще и сердце стукнуло где-то не там. Слишком сильно. Слишком пусто.

Я моргнула.

Перед глазами на миг проступила тонкая темная рябь, как если долго смотреть на солнце, а потом закрыть глаза.

— Ты чего? — услышала я где-то справа.

Голос был далекий, будто через воду.

— Ничего, — сказала я.

Я не знала, сказала ли это вслух.

Парта оставалась в двух шагах.

Всего в двух.

Надо было только дойти.

Я выпрямила спину сильнее, почти до боли. Сделала шаг.

Потом еще один.

Термос вдруг выскользнул из пальцев.

Не упал — качнулся, ударился о край парты, брякнул глухо и остался в руке только чудом. Я раздраженно стиснула его снова. Какой-то идиотский, мелкий стыд кольнул сильнее, чем нарастающая дурнота.

Соберись.

Ну же.

Не позорься.

Я услышала собственную мать так ясно, будто она стояла прямо за спиной: не ной, люди смотрят.

От этой фразы всегда делалось проще.

Не легче.

Именно проще, как будто внутри включался старый механизм, в котором не было места ни телу, ни усталости, ни страху. Только задаче.

Я еще раз вдохнула, на этот раз резко.

Слишком резко.

Воздуха вдруг стало мало.

Аудитория отодвинулась. Потом приблизилась. Потом снова отодвинулась.

Я увидела кафедру, доску, лица, окно с серым ноябрем и все это начало терять четкость, будто кто-то медленно сти-

рал мир влажной губкой.

Я протянула свободную руку к краю ближайшей парты.

Не дотянулась.

Кто-то встал.

Кто-то сказал:

— Эй...

И в ту же секунду пол ушел из-под меня.

Не было красивого замедления, не было времени испугаться как следует. Только резкий провал, мгновенная потеря опоры и жесткий удар подбородком о край стола.

Боль вспыхнула короткой белой вспышкой, а потом все стихло.

Чужие крики.

Шорох отодвигаемых стульев.

Кто-то зовет меня по имени.

Кто-то уже наклоняется.

Чьи-то руки тянутся слишком быстро.

Мне было не больно.

Мне было стыдно.

Даже здесь, в этой ватной, расплзающейся темноте, первое, что пришло ко мне, был именно стыд — ледяной, чистый, унижительный. Я не смогла дойти до парты. Не удержалась. Развалилась посреди аудитории, как какая-нибудь впечатлительная первокурсница, которую забыли покормить.

Хотелось провалиться еще глубже.

Туда, где никто не смотрит.

Где нет рук, голосов, жалости.

Где нет этого мерзкого «бедненькая».

Тьма, которая пришла после удара, была сначала густой, плотной, почти теплой. Потом в ней появился звук.

Море.

Почему-то море.

Глухой, ровный шум, как будто вода перекачивала камни где-то совсем рядом.

Я попыталась открыть глаза и открыла.

Но увидела не аудиторию.

Передо мной был свет — тусклый, белесый, размытый, как в плохом сне. В нем медленно проступали очертания. Песок. Серое небо. Какая-то бледная полоска воды вдалеке.

И в самом центре — пятно.

Темное.

Неровное.

Живое.

Я моргнула.

Пятно приблизилось.

Нет, не пятно.

Кто-то.

Фигура.

Маленькая.

И только потом — глаза.

Они были страшно злые.

Не просто сердитые, не испуганные, не настороженные.

Именно злые — так, будто в них годами копилось что-то живое и черное, что теперь наконец нашло, на кого смотреть. Я не видела лица целиком, не различала черт, только эти глаза, слишком яркие на бледном расплывающемся фоне.

Они смотрели на меня так, словно ненавидели.

Словно ждали.

Словно знали меня лучше, чем я сама.

Я дернулась или мне показалось, что дернулась. Хотела отшатнуться, поднять руку, закрыться, сказать что-то.

Не смогла.

Глаза стали ближе.

И в ту же секунду мир дернули назад — резко, больно, как мокрую простыню.

— Инна!

На этот раз голос был настоящим.

Я открыла глаза и увидела над собой белый потолок аудитории. Все расплывалось, но уже по-человечески, без моря и без этих глаз. Слева нависало чье-то лицо. Справа еще одно. Кто-то держал меня за плечо. Кто-то махал перед лицом тетрадь.

— Отойдите, дайте воздух!

— Воды принесите!

— Она ударилась?

— Инна, ты меня слышишь?

Я услышала.

И лучше бы нет.

Я попыталась сесть.

Подбородок тут же отозвался тупой болью, затылок налился тяжестью, в желудке неприятно свело. Но это было не страшно. Страшнее было увидеть, сколько людей стоит вокруг.

Все смотрят.

Все.

Я почувствовала, как к лицу приливает жар — нелепый, унижительный, детский.

— Да жива я, — сказала я хрипло.

Голос не слушался.

— Не вставай пока, — кто-то сказал.

Конечно.

Не вставай.

Полежи тут еще на полу посреди аудитории, дай всем вдоволь налюбоваться.

— Я сказала, жива, — повторила я уже злее и выдернула плечо из чужой руки.

Мне помогли сесть, хотя я не просила. Кто-то сунул воду. Я не взяла.

Взгляд метнулся по лицам — испуганным, сочувствующим, любопытным.

На самом краю толпы стоял Петр.

Бледный как стена.

Я увидела его глаза и сразу отвела свои.

Только этого не хватало.

Преподаватель что-то говорил про медпункт, про давление, про то, что надо вызвать кого-то. Я почти не слушала. Я сидела, опираясь ладонью о холодный пол, и пыталась вернуть себе лицо.

Лицо — это было самое главное.

Не расплакаться.

Не показать, как трясет.

Не дать этим идиотам запомнить меня слабой.

— Сладкое есть? — спросил вдруг кто-то.

Я подняла голову.

— Чай, — сказала я. — Мне нужен просто сладкий чай.

Слова прозвучали неожиданно твердо, почти как приказ.

И от этого стало чуть легче.

Да. Вот. Уже лучше.

Это не катастрофа.

Просто сахар.

Просто недосмотрела.

Просто устала.

Я сейчас выпью сладкого чаю, и все встанет на место.

Тело — тупое, ненадежное, капризное, можно будет снова собрать в рабочую конструкцию.

Главное, чтобы никто не начал жалеть.

Я медленно поднялась на ноги.

Мир качнулся, но уже не критично.

Я стояла.

А значит, все было еще исправимо.

Только где-то глубоко, под гулом крови в висках, под болью в подбородке, под суетой аудитории и собственным стыдом, оставалось другое ощущение.

Шершавое.

Холодное.

Как будто вместе со мной из темноты вернулся чей-то взгляд.

И теперь смотрел изнутри. В ушах еще несколько секунд стоял шум моря — далекий, глухой, необъяснимый. Потом стих и он.

#### **Глава 4. Сахар**

До конца пары меня, конечно, не оставили.

В этом и была главная несправедливость любого публичного недомогания: ты еще жива, еще способна сидеть, говорить и даже язвить, а тебя уже начинают водить как хрустальную вазу, за которую все внезапно испугались. Будто ты не человек, а происшествие.

Я шла в сторону кафедральной лаборантской в сопровождении старосты и еще какой-то девочки с испуганным лицом, имени которой я не помнила. Девочка все время спрашивала:

— Точно не надо скорую?

— Нет.

— А может, давление?

— Нет.

— А ты раньше...

— Нет, — сказала я в третий раз и посмотрела так, что дальше девочка уже шла молча.

Подбородок ныл. Во рту был металлический привкус. Ноги стали неприятно легкими, как чужие. Но главное — прошло это дикое ощущение провала, когда мир расплзается во все стороны и держится только на злости. Теперь осталось другое: ватная слабость, от которой хотелось отмыться.

В лаборантской пахло пылью, чайной заваркой и старой мебелью. У окна стоял электрический чайник. На подоконнике банка с сахаром и вазочка с зефиром, подсохшим по краям. Кто-то из преподавателей, видимо, держал это стратегическое счастье на случай долгих заседаний.

— Вот, — сказала староста. — Садись.

Я села не сразу. Сначала осторожно коснулась пальцами подбородка, потом подошла к зеркальцу, висевшему на стене между шкафом и аптечкой.

Ничего страшного. Чуть содрана кожа. Краснота. К вечеру, наверное, выступит синяк, но не смертельно.

Лицо в зеркале было бледным, даже серым каким-то, и под глазами залегли такие тени, что мать бы сказала: «На кого ты похожа? На тебя же люди смотрят».

Я отвернулась.

— Чай сделать? — спросила староста уже тише, почти с опаской.

— Я сама.

Я не любила, когда за мной начинали ухаживать. Особен-

но в таком состоянии. Уход всегда подразумевал, что ты сейчас хуже, слабее, ниже. Что кто-то видит твою неидеальность вблизи. Что она уже случилась и ее не спрячешь.

Я налила в кружку кипяток, бухнула туда пакетик чая, положила три ложки сахара и, подумав, добавила четвертую.

Староста смотрела молча, как на человека, которому внешне разрешили быть странным.

— Зефир будешь? — спросила она наконец.

— Буду.

Я взяла сразу две штуки и откусила одну почти не чувствуя вкуса. Сладость ударила резко, вязко, неприятно. Но через несколько секунд внутри что-то как будто начало медленно возвращаться на место. Сердце, до этого бившееся нервно и мелко, стало стучать ровнее. В пальцах появилось ощущение тепла. Воздух перестал быть таким стеклянным.

Вот.

Ну, конечно.

Сахар.

Что и требовалось доказать.

Никакой трагедии. Никакого «организм не выдержал». Никакой чертовой слабости. Просто дура не поела нормально. Просто перегнула палку. Просто надо внимательнее следить за собой, а не устраивать цирк посреди аудитории.

Слово «цирк» неприятно кольнуло.

Я сделала большой глоток чая.

— Инна.

Голос был мужской.

Я даже не обернулась сразу, и так поняла, кто вошел.

Петр.

Конечно.

Кого еще здесь не хватало.

— Можно? — спросил он уже у дверей, будто это была не лаборантская после обморока, а палата интенсивной терапии.

— Нельзя, — сказала я.

Староста, предательски оживившись, тут же встала.

— Я пойду, — пробормотала она. — Если что, позовете.

И выскользнула в коридор, прихватив с собой вторую девочку.

Я подняла кружку обеими руками и уставилась в чай так, как будто именно там, на мокром дне, был написан какой-то важный ответ.

Петр подошел ближе. Поставил на стол мой термос, тот самый, который выпал.

— Держи, — сказал он.

— Спасибо. Мир спасен.

Он не ответил на колкость. Это раздражало больше всего.

Я отпила еще чаю. Потом еще.

Только не смотреть на него.

Только не видеть это его лицо, в котором сейчас наверняка смешались тревога, жалость и желание поговорить по-человечески, как будто я ему дала на это право.

— Ты меня слышала? — спросил он.

— К сожалению.

— Я не об этом. Там, в аудитории.

Я медленно подняла глаза.

— Петя, если ты сейчас скажешь что-то вроде «ты нас всех напугала», я тебя этим чайником ударю.

Он сел напротив, не спрашивая разрешения. Локти на стол не поставил, руки держал на коленях. Слишком аккуратный. Слишком собранный для человека, который всегда выглядел так, будто только что проснулся и еще не решил, в каком веке живет.

— Я не собирался этого говорить, — сказал он спокойно.

— Вот и славно.

— Ты ударилась.

— Бывает.

— У тебя кровь была.

— Уже нет.

— Ты упала в обморок.

Я улыбнулась.

Легко. Почти весело.

— Невероятная наблюдательность. Тебя точно не на патан отправят? С такими талантами грех пропадать.

Петр смотрел на меня молча.

И от этого молчания у меня внутри снова начала подниматься раздражающая, почти животная злость. Потому что он не спорил, не обижался, не оправдывался. Просто сидел

и смотрел так, будто видел за всеми моими шутками что-то еще. А мне сейчас меньше всего на свете хотелось быть увиденной.

— Мне просто сахар надо было поднять, — сказала я уже суше. — Все. Не надо делать трагедию из физиологии.

— Ты не спала сутки.

— И что?

— И работала.

— И что?

— И не ела, скорее всего.

— Ела.

— Что?

Я на секунду задумалась.

— Не помню, — честно сказала я и тут же разозлилась на себя за эту честность. — Это вообще неважно.

Петр слегка повел бровью.

— Очень.

— Нет, не очень.

— Инна...

— Да не начинай ты.

Я поставила кружку на стол чуть резче, чем собиралась. Чай качнулся, перелился через край на блюдце.

— Что ты от меня хочешь? — спросила я тихо, но зло. — Чтобы я признала, что разваливаюсь? Что мне срочно нужен санаторий, три пледа и общественное сочувствие? Не дожدهшься.

— Я этого не хочу.

— А чего тогда?

Петр выдохнул и опустил взгляд на мои руки, сжимавшие кружку.

— Чтобы ты не добивала себя, — сказал он наконец.

Я усмехнулась.

— Драматично.

— По факту.

— По факту, красавчик, — я чуть наклонилась вперед, — я просто устала. Люди устают. Люди падают в обморок. Люди потом пьют чай и идут дальше. Это называется жизнь, а не апокалипсис.

— Ты все время говоришь «люди», как будто сама не человек.

Эта фраза попала слишком точно.

Я замолчала.

Всего на секунду.

Но Петр успел это заметить.

И я тут же подняла подбородок выше.

— А я, может, и не человек, — сказала я. — Я медицинский термин. Состояние средней степени задолбанности, осложненное хронической работоспособностью.

Он неожиданно хмыкнул.

— Вот это уже больше похоже на тебя.

— Спасибо, я старалась.

Пауза.

За дверью кто-то прошел по коридору, где-то хлопнула форточка, чайник щелкнул, остывая. В лаборантской стало так тихо, что я услышала, как ложка в стакане тонко звякнула о стекло.

Сердце и правда билось уже ровнее.

Сладость расплзалась по телу тупым, липким спокойствием. Это было почти приятно. Опасно приятно.

Я взяла еще один зефир и откусила половину. В этот раз вкус почувствовался яснее — сахар, ваниль, что-то пыльное.

Петр смотрел, как я ела, и почему-то именно это вывело меня из себя окончательно.

— Не смотри так, — сказала я.

— Как?

— Как будто я сейчас растаю и утеку в щель под шкафом.

— Я так не смотрю.

— Вот именно так и смотришь.

— Я просто пытаюсь понять, все ли с тобой нормально.

— А я тебе уже сказала: да.

— А если нет?

Я резко подняла глаза.

— Тогда это не твоя проблема.

Слова вышли жестче, чем я хотела.

На лице Петра что-то еле заметно изменилось — не обида даже, а словно он на секунду убрал руку, которой раньше не касался.

— Понял, — сказал он тихо.

И вот это «понял» было хуже любых оправданий.

Я стиснула зубы.

Мне вдруг захотелось сказать что-нибудь другое. Что он не обязан уходить. Что я просто злая, потому что мне стыдно. Что я сама не понимаю, почему меня так выворачивает от любой помощи.

Но вместо этого я проглотила сладкий комок, сделала глоток уже почти теплого чая и сказала:

— Прекрасно.

Петр встал.

— Ладно, — сказал он. — Если что, я рядом.

Я фыркнула, не поднимая глаз.

— Это угроза?

— Это констатация.

Он развернулся и вышел.

Дверь за ним закрылась почти бесшумно.

Я осталась одна.

Еще минуту я сидела неподвижно, глядя в чай, где на поверхности медленно кружилась тонкая пленка. Потом взяла кружку обеими руками и поднесла к губам.

Сладко.

Горячо.

Успокаивает.

Сердце уже почти не колотилось.

В теле разливалось вязкое, ленивое облегчение. Как будто кто-то изнутри осторожно разглаживал скомканную ткань. И

это было так неожиданно хорошо, что я даже закрыла глаза на секунду.

Вот.

Все.

Ничего страшного не произошло.

Просто сахар.

Просто недоела.

Просто надо больше следить за режимом.

Я открыла глаза.

На столе у локтя лежал телефон. Экран мигнул. Сообщение от матери.

«Ты мне не звонишь. Надеюсь, ничего не случилось? Я же волнуюсь.»

Я посмотрела на эту фразу и усмехнулась одними губами.

Потом заблокировала экран, допила чай и встала.

В голове еще слегка шумело, но уже терпимо. Подбородок болел. В груди осталось мерзкое воспоминание о падении. И где-то совсем глубоко то, чего я не хотела касаться даже мыслью.

Те глаза.

Не человеческие.

Злые.

Смотревшие так, будто это не я упала, а меня наконец догнали.

Я резко взяла термос, папку, куртку и вышла в коридор.

Идти обратно в аудиторию не хотелось.

Но сидеть здесь было еще хуже.

Я шла быстро, как будто могла обогнать собственный стыд.

На повороте остановилась у окна, будто просто поправить папку. На стекле отразилось мое лицо — бледное, с жестким ртом и темными провалами под глазами.

Нормальное лицо.

Собранное.

Рабочее.

Я коснулась пальцем подбородка, поморщилась и тихо сказала своему отражению:

— Больше такого не будет.

Отражение ничего не ответило.

Но мне вдруг показалось, что если всмотреться в темную глубину стекла чуть дольше, то за своим лицом можно увидеть что-то еще.

Как будто кто-то смотрел оттуда тоже.

Я моргнула.

Только я сама.

Конечно.

Кто же еще.

## **Глава 5. Глаза**

К обеду у меня разболелась голова.

Не сильно, не так, чтобы нельзя было читать или двигаться, просто тупо и равномерно ныло где-то за глазами, будто кто-то вкрутил под лоб тонкие горячие винты и теперь ле-

ниво подкручивал их каждые несколько минут. Подбородок от удара припух и стал чувствительным к любому прикосновению. Когда я умывалась в общежитской раковине, холодная вода на коже неприятно щипнула, и я машинально дернулась, будто меня застали за чем-то постыдным.

В коридоре общежития пахло вареной картошкой, мокрыми полотенцами и чужими духами. На кухне кто-то жарил лук, в соседней комнате смеялись над сериалом, в конце коридора хлопала дверца душевой, а у меня в голове все это складывалось в какой-то липкий, вязкий шум, от которого хотелось снять кожу и повесить ее на батарею сушиться.

Я бросила сумку на стул, села за стол и открыла конспект.

Там были схемы, термины, стрелки, детские диагнозы, все аккуратно подчеркнуто цветными ручками, как будто это писала не я же ночью между сменой и парой, а кто-то другой, спокойный, устойчивый, организованный. На полях синим было приписано: «сравнить с клиникой бронхиолита»

Я посмотрела на строчку и не поняла, что читаю.

Прочитала еще раз.

Потом еще.

Буквы расплывались. Не буквально — хуже. Они оставались черными и четкими, но мозг отказывался превращать их в смысл.

На столе лежал телефон.

Мать звонила еще дважды.

Петр написал один раз:

«Ты как?»

Я не ответила никому.

Потому что, если ответить матери, придется либо врать, что все хорошо, либо слушать, как та тревожится с подтекстом упрека.

Если ответить Петру, он, чего доброго, продолжит быть нормальным человеком.

А нормальные люди были сегодня особенно невыносимы.

Я сжала переносицу двумя пальцами и закрыла глаза.

Надо было просто пережить день.

Немного почитать.

Потом поспать.

Вечером встать и жить дальше так, будто сегодня ничего не случилось.

Это был хороший план.

Проверенный.

Меня всегда спасали хорошие планы.

Из коридора донеслись шаги, потом стук в дверь.

Я даже не успела отозваться — дверь приоткрылась, и в комнату заглянула соседка, Лера, уже в пижаме с выцветшими звездами на штанах.

— Ты жива? — спросила она с тем особым любопытством, которое люди считают участием.

— Частично.

Лера вошла, прикрыла дверь бедром и принесла с собой запах яблочного шампуня и столовой.

— Про тебя уже полфакультета знает, между прочим.

Я подняла глаза.

— Какая честь.

— Ну не бесись. Я тебе как друг сообщаю.

— Ты мне как главная сплетница сообщаешь.

Лера хмыкнула и села на край своей кровати.

— Говорят, ты прям бахнулась как в кино.

Я молча уставилась на нее.

Лера быстро подняла руки.

— Все, молчу. Молчу. Просто... ты реально нормально?

— Да.

— Точно?

— Лера.

— Ладно, поняла.

Она посидела еще пару секунд и уже встала, когда вдруг обернулась у двери:

— Там, кстати, этот твой заходил.

— Кто?

— Ну этот. Красавчик с параллельного. Петр. Спросил, как ты. Я сказала, что ты живая, но на людей пока бросаешься.

— Очень информативно.

— Старалась, — сказала Лера и наконец исчезла.

Я посмотрела на дверь так, будто та лично была виновата во всем происходящем.

Потом перевела взгляд на телефон.

Экран был черный.

Тихий.

Как раз такой, как мне сейчас хотелось.

Я снова уткнулась в конспект.

Через двадцать минут поняла, что все это время просто смотрела на одну и ту же страницу.

Голод пришел резко.

Не аппетит — именно голод. Грубый, физический, пустой, как будто внутри меня резко вынули что-то важное и вместо этого оставили дыру с шершавыми краями.

Я замерла.

Это было неприятно.

Очень неприятно, потому что я вроде бы ела. Немного, но ела. Сладкий чай с зефиром в лаборантской. Потом, кажется, еще что-то по дороге. Или нет? Я попыталась вспомнить, но мысли вяло скользили, не цепляясь одна за другую.

В животе свело сильнее.

Я отодвинула конспект и открыла ящик стола.

Там по-прежнему лежали батончики, яблоко и шоколадка.

Я посмотрела на шоколадку.

Потом на яблоко.

Потом снова на шоколадку.

Вообще-то не стоило.

Вообще-то после такого дня лучше было съесть что-то нормальное.

Но «нормальное» требовало действий: пойти на кухню, что-то греть, кого-то встретить, слушать вопросы. А шоколадка лежала здесь, в ящике, тихо и удобно. Никого не просила, ничего не объясняла.

Я взяла ее.

Развернула.

Съела два квадратика подряд, почти не заметив вкуса.

Потом еще два.

Стало чуть легче. Не сытнее — именно спокойнее.

Как будто где-то внутри на секунду перестали скрести ногтями по стенке.

Я раздраженно смяла обертку.

Ну вот.

Пошло-поехало.

Я бросила шоколадку обратно в ящик, закрыла его и встала.

Лучше умыться.

Или чай сделать.

Или просто не сидеть на месте, пока в голове снова не начался этот мерзкий внутренний шум.

На кухне было пусто, только в углу тихо гудел старый холодильник и капала вода из крана. Под потолком горела одна желтая лампа, отчего все вокруг выглядело еще более унылым: потертая клеенка, облупившаяся краска на подоконнике, сушилка с чьими-то кружками.

Я поставила чайник.

В отражении черного окна увидела себя — темную фигуру, бледное лицо, распухший подбородок. На секунду мне показалось, что глаза у отражения чуть темнее, чем у меня самой.

Я моргнула.

Нормально.

Просто устала.

Чайник зашумел.

Я вдруг поняла, что все это время стою, вцепившись пальцами в край стола, как будто боюсь упасть еще раз. От этой мысли стало так противно, что я резко выпрямилась и зло выдохнула.

— Да господи, хватит уже, — сказала я вслух.

Никто не ответил.

Я налила воду в кружку, бросила пакетик чая, не дожидаясь, пока заварится, сделала глоток и сразу обожгла язык.

Вот только этого не хватало.

Тело вело себя как враг.

То падает.

То хочет есть.

То дрожит.

То не спит.

То жжет, то ломает, то шумит.

Словно нарочно.

Я поставила кружку и уперлась ладонями в стол.

Надо просто лечь.

Все.

Никаких конспектов сегодня.

Никаких мыслей.

Потом будет новый день, и я соберу себя обратно.

Я даже развернулась к двери.

И в этот момент мир чуть заметно поплыл.

Не как утром. Не так резко. Скорее, как если бы кухня вместе со стенами, лампой, чайником и моей собственной тенью сделалась на секунду слишком жидкой.

Я остановилась.

В ушах снова появился звук.

Не звон даже.

Шум.

Ровный.

Далекий.

Будто вода.

Я схватилась за спинку стула.

— Нет, — сказала вслух, уже тверже. — Только не сейчас.

Пол под ногами остался на месте.

Но звук не исчез.

Наоборот — стал чуть отчетливее.

Море.

Это было невозможно.

Совершенно идиотское слово для общежитской кухни в облцентре, в ноябре, рядом с треснувшей плиткой и вонючим холодильником.

Но это было море.

Я зажмурилась. Открыла глаза.

Кухня стояла на месте.

Только свет стал какой-то слишком белый.

И воздух — слишком пустой.

Мне нужно было дойти до комнаты.

Просто дойти.

Три шага до двери, потом коридор, потом кровать.

Я сделала первый шаг.

Второй.

На третьем все исчезло.

Без удара.

Без провала.

Просто словно выключили один мир и включили другой.

Песок был холодный.

Вот что удивило меня первым. Не небо, не воздух, не то, что я снова здесь. А именно песок — сырой, колючий, холодный, забивающийся в ладони.

Я резко села.

Передо мной тянулся берег — пустой, выцветший, как старая фотография, которую слишком долго держали на солнце. Море было серым, тяжелым, почти неподвижным. Небо — блеклым, без времени суток. Ни людей. Ни домов. Ни следов.

Только ветер.

И этот звук — шшш, шшш, шшш — вода, перебирающая

край берега.

Я тяжело дышала.

Сердце колотилось так, что больно отдавалось в горле.

Я быстро оглянулась через плечо.

Никого.

Только полоска песка, темная линия кустов и дальше — чаща. Неподвижная. Черная. Как будто лес здесь не рос, а ждал.

— Нет, — сказала я.

Голос прозвучал глухо и странно тонко.

Я поднялась на ноги.

Песок тут же пополз под ступнями, как будто не хотел держать вес.

— Нет, — повторила я уже громче. — Нет. Нет. Нет.

Это был не обморок.

Не сон.

Не видение.

Слишком холодный ветер.

Слишком липкие ладони.

Слишком настоящее чувство, что я здесь одна.

Я развернулась к морю, потом обратно к лесу.

И только тогда увидела ее.

Фигуру.

Невысокую.

Тонкую.

Стоящую у самой границы чащи.

Она была далеко, но не настолько, чтобы не заметить главное.

Смотрела.

Прямо на меня.

Я застыла.

Ветер дернул волосы мне в лицо.

Фигура не двигалась.

И все равно в ней было что-то такое, от чего внутри у меня сразу поднялось знакомое, животное напряжение.

Не страх даже.

Что-то хуже.

Узнавание без понимания.

Я сделала полшага назад.

Фигура качнулась вперед, словно в ответ.

И тогда я увидела глаза.

Те самые.

Злые.

Не по-взрослому злые, не театрально страшные, а яростные так, как бывает яростен ребенок, которому что-то не дали.

Я не видела лица толком. Только глаза.

И в них было столько ненависти, что мороз пробрал по спине.

Фигура сделала еще шаг.

Теперь стало видно, что это действительно девочка.

Маленькая. Лет восьми, может, девяти. Худая. В каком-то

выцветшем платье или длинной рубашке — не разобрать. Волосы спутанные, темные, висят вдоль лица. Руки худые. Плечи острые.

Но взгляд — взгляд был как у зверя, который не убежал, а решил, что если подойти ближе, то вцепится в горло.

Я попятилась еще.

— Кто ты? — спросила я.

Девочка ничего не ответила.

Только смотрела.

Потом слегка склонила голову к плечу, как делают дети или очень больные птицы.

И вдруг усмехнулась.

Не весело.

Не хитро.

Страшно.

Как будто знала что-то, чего мне знать не положено.

— Это не смешно, — сказала я резче, чем собиралась.

Голос предательски дрогнул.

Девочка сделала еще шаг.

Теперь между нами оставалось метров десять. Не больше.

Я увидела ее лицо чуть лучше — худое, бледное, почти прозрачное. И рот, сжатый так, будто он давно разучился просить о чем-либо нормально.

— Кто ты? — повторила я.

И в этот раз девочка ответила.

Голос у нее был тонкий, звонкий и какой-то надтресну-

тый, словно она давно кричала, а теперь сорвала связки.

— А ты кто?

Я моргнула.

Вот только этого не хватало.

— Я первая спросила.

Девочка вдруг засмеялась.

Смех у нее был резкий, неприятный, как если по стеклу царапнуть ногтем.

— Ну, конечно, — сказала она. — Ты первая.

— Что?

— Ничего.

Она сказала это почти выплюнула.

Я почувствовала, как под кожей снова поднимается раздражение. Страх быстро перерастал в злость — привычный, рабочий механизм. Злость всегда была проще.

— Слушай, — сказала я. — Если это какой-то бред моего переутомленного мозга, то я хочу сразу предупредить: ты мне не нравишься.

Девочка перестала смеяться.

Смотрела теперь совсем неподвижно.

— А ты мне, — сказала она.

От этих слов внутри у меня что-то коротко, больно дернулось.

Как от попадания точно в синяк.

Я открыла рот, чтобы ответить — что-нибудь колкое, резкое, нормальное — и не успела.

Мир снова качнулся.

Море стало громче.

Песок поплыл.

Девочка рванулась вперед — быстро, неожиданно быстро, как будто хотела добежать до меня за одно мгновение.

Я отшатнулась.

И все оборвалось.

Я лежала на полу общежитской кухни.

Щека прижата к холодной плитке. Кружка разбилась, чай разлился под рукой, осколок больно впивался в ладонь. Лампа под потолком гудела все так же желто и уныло. Холодильник тарахтел в углу. За стеной кто-то кашлянул.

Я резко села.

Сердце молотило.

Во рту пересохло.

Ладонь саднило.

На коже были чайные листья, осколки, липкие капли.

Обычная кухня.

Обычная общага.

Обычный ноябрьский день.

Никакого моря.

Никакого пляжа.

Никакой девочки.

Я подняла дрожащую руку и посмотрела на нее.

Чай.

Ничего больше.

Я встала слишком резко, ударились бедром о стул, тихо выругалась и вцепилась в край стола.

Потом посмотрела на разбитую кружку.

На лужу.

На собственное отражение в черном окне.

И вдруг ясно, до отвращения ясно поняла одну вещь.

Что бы это ни было — усталость, голод, нервный срыв, чертова галлюцинация — оно повторяется.

А значит, проблема уже не в сегодняшнем дне.

Проблема во мне.

Я нагнулась, стала собирать осколки по одному. Аккуратно. Медленно. Чтобы руки перестали трястись.

Потом выбросила их в ведро, вытерла пол старым полотенцем и только после этого пошла в комнату.

Свет не включала.

Села на кровать в полумраке.

Из окна тянуло холодом. Где-то во дворе хлопнула дверца машины. Телефон мигал на столе — Петр, мать, староста, кто-то еще.

Я не брала.

Я сидела, уставившись в пол, и думала только об одном.

У той девочки были не просто злые глаза.

Они смотрели так, будто ненавидели меня очень давно.

И были уверены, что теперь я уже не отверчусь.

## **Глава 6. Шторы**

К матери, в поселок рядом с городом, я ехала вечером на

следующий день, после смены.

Автобус был набит так, будто весь город решил именно в этот час перемещаться из одной своей усталости в другую. В проходе толкались пакеты с продуктами, у дверей стояла женщина с сонным ребенком на руках, кто-то пах селедкой, кто-то сигаретами, кто-то духами с таким напором, будто надеялся перебить ими ноябрь. За окном плыл серый, мокрый, подтаявший город: ларьки, остановки, облезлые пятиэтажки, голые деревья, провода, вечерние фонари, включившиеся слишком рано.

Я сидела у окна и смотрела мимо всего этого.

На коленях у меня лежала тяжелая сумка с продуктами, мать еще утром между делом заметила, что дома закончились яйца, гречка и стиральный порошок, а «если ты все равно поедешь мимо магазина, можно было бы захватить». Я захватила.

Плечи ныли. Под коленями пульсировала тупая усталость. В висках временами неприятно подрагивало, словно кто-то тихо стучал костяшкой пальца изнутри. На обед я сегодня выпила кофе и съела йогурт ложками прямо в общей кухне, стоя у подоконника.

Хотелось домой.

Вернее, не домой даже — в любое место, где можно было бы лечь лицом в подушку и хотя бы полчаса не быть никому нужной.

Но автобус уже свернул на улицу, где жила мать.

Я встала, подхватила сумку и протиснулась к выходу.

Во дворе все было по-прежнему: темные тополя, лужи в колеях, облупленный подъезд, кодовый замок, который вечно заедал, запах сырости и вареной капусты в лестничной клетке. На третьем этаже, за знакомой дверью с бронзовым глазком, уже ждали.

Мать открыла почти сразу, будто стояла за дверью и слушала шаги.

— Наконец-то, — сказала Екатерина Александровна вместо приветствия. — Я уж думала, ты к ночи приедешь.

— И тебе здравствуй, мам.

Мать отступила в сторону, оглядела меня с головы до ног и сразу поморщилась.

— Ну и вид у тебя. Совсем себя не бережешь. Волосы бы хоть расчесала перед тем, как к людям ехать.

Я молча переступила порог.

В квартире пахло порошком, утюгом и чем-то запеченным. Все было до боли знакомо: коврик у двери, вешалка с аккуратно развешанными куртками, натертый до сухого блеска пол, ровный свет люстры, от которого любая усталость делалась еще заметнее.

Мать забрала у меня пакет, заглянула внутрь.

— Яйца взяла?

— Взяла.

— И гречку?

— Тоже.

— Молодец. Хоть на тебя можно положиться.

Я стянула ботинки, повесила куртку и на секунду прикрыла глаза. Хотелось просто простоять так, никуда не идя дальше. Но из комнаты уже послышался кашель отца, потом скрип кресла.

— Отец, — крикнула мать, — Инна приехала.

— Угу, — донеслось откуда-то из глубины квартиры.

Это «угу» означало все и ничего одновременно: он жив, он услышал, он в курсе, но двигаться к миру по этому поводу не намерен.

— Ну что ты встала? — сказала мать. — Иди мой руки и сразу в зал. Я там все приготовила.

Как будто мы не про шторы говорили, а про небольшую строительную кампанию.

Я прошла в ванную.

Холодная вода была почти ледяной. Я долго держала под ней руки, потом плеснула в лицо. Из зеркала на меня смотрела бледная девушка с темными кругами под глазами и раздраженно поджатым ртом. Подбородок от удара почти не болел, только сбоку уже начинал наливаться синяк.

Мать это, конечно, заметит.

Или уже заметила.

И либо спросит так, что отвечать не захочется, либо делает вид, что не увидела, но потом обязательно вставит что-нибудь вроде: «Ты бы хоть осторожнее, а то разукрасишься, как не пойми кто».

Я вытерла руки и пошла в большую комнату.

Шторы — тяжелые, темно-бежевые, с плотной подкладкой уже лежали на диване, тщательно сложенные. Под окном стоял стул. Карниз был действительно неудобный, высокий, с каким-то мудреным креплением, которое отец, разумеется, «не успел посмотреть».

— Вот сюда, — сказала мать деловито. — Я думаю, мы быстро управимся, если не копать.

Я кивнула и взяла одну штору.

Ткань была тяжелой и пахла кондиционером для белья — сладким, душным, чересчур чистым. Я поднялась на стул, потянулась к крючкам. Плечо сразу отозвалось тупой болью.

— Осторожнее, — сказала мать снизу. — Ты же все делаешь рывками, как будто за тобой кто-то гонится.

— Не гонится.

— А ощущение такое, что гонится.

Я промолчала.

Из кресла у окна показался отец. Павел Петрович был, как всегда, в вязаном сером жилете поверх рубашки и в домашних брюках, слишком коротких для его щиколоток. В руках у него была книга с загнутым уголком страницы.

— Привет, Инночка, — сказал он тихо.

— Привет, пап.

— Устала?

Я коротко посмотрела вниз.

Вот ведь удивительно. Единственный человек в доме, кто

задал самый человеческий вопрос, делал это таким тоном, будто спрашивал, не идет ли завтра дождь.

— Да нет, нормально, — ответила я.

Павел Петрович кивнул и снова скрылся за книгой.

Мать фыркнула.

— Конечно, нормально. У нас все всегда нормально. Только потом у всех давление, бессонница и какие-то непонятные синяки.

Вот. Заметила.

Я вставила очередной крючок чуть резче, чем нужно.

— Это я в аудитории стукнулась.

— Где?

— В университете.

— Каким образом?

— Обычным.

— Ты можешь отвечать нормально?

Я спустилась со стула, поменялась с матерью местами, чтобы расправить ткань снизу.

— Упала, — сказала я. — Подбородком о парту.

Мать выпрямилась.

— Упала?

Пауза.

— В смысле — упала?

Я пожала плечом.

— В прямом.

— Ты что, в обморок, что ли, грохнулась?

Это слово было сказано почти шепотом, но в нем уже было все: ужас, раздражение, скрытый стыд.

Я взялась за вторую штору.

— Ну да. Бывает.

Екатерина Александровна уставилась на меня так, будто я призналась в чем-то неприличном.

— И ты мне даже не сказала.

— А зачем?

— Как зачем? — Мать повысила голос совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы в комнате стало теснее. — Это нормально, по-твоему? Молодая здоровая девушка падает в обморок посреди учебы, а ей, оказывается, и сказать матери не о чем?

— Мам, не начинай.

— Я не начинаю. Я хочу понять, что у тебя с организмом. Ты же себя совершенно загнала. Я тебе сто раз говорила: нельзя так. Нельзя жить как лошадь ломовая. Ты же девочка.

Я тихо усмехнулась.

— Ну вот, теперь я еще и девочка.

— Не хаами.

— А ты не делай вид, что тебе важно, как я себя чувствую. Тебе важно, чтобы я не падала в обморок на людях.

Мать побелела даже не лицом — губами.

Павел Петрович за креслом чуть шевельнулся, но не сказал ничего.

Екатерина Александровна расправила складку на шторе с

такой аккуратностью, будто не хотела запачкать руки словами, которые вертелись на языке.

— Ты стала очень грубая, — сказала она наконец. — Очень. С тобой последнее время невозможно разговаривать. На любое нормальное беспокойство ты отвечаешь, как базарная торговка.

Я посмотрела на нее сверху вниз со стула.

— Я не базарная торговка, мам. Я просто устала.

Секунда тишины.

И в эту секунду можно было бы, наверное, что-то изменить. Если бы мать умела слышать такие фразы. Если бы я умела говорить их раньше, чем внутри все закипит. Если бы отец хотя бы раз в жизни не счел молчание достойной формой существования.

Но ничего не изменилось.

— Все устают, — сказала мать ровно. — Только не все позволяют себе устраивать спектакли.

Я медленно слезла со стула.

— Это был не спектакль.

— Надеюсь, — сказала мать. — Потому что позориться в твоём возрасте как-то уже поздно.

И вот тут, на слове «позориться», что-то внутри меня надломилось — не в первый раз, а так, как надламывается старая кость, однажды сросшаяся неправильно и теперь задетая точным, почти нечаянным ударом. Я не ответила. Потому что вдруг перестала видеть перед собой эту комнату, эти

шторы, этот карниз. Вместо них передо мной встало другое.

Мне было шесть лет.

Лето, выпускной в детском саду. Актальный зал, полный родителей, бабушек, дедушек, воспитательниц с влажными от гордости глазами. На сцену вывели группу — нарядных, причесанных, с цветами в руках. Я стояла в центре первого ряда. Меня выбрали — из всех девочек именно мне доверили читать стихотворение. Героиня дня, так назвала меня воспитательница, и дома мать повторяла это с гордостью, но и с предупреждением: «Ты должна выступить хорошо. Мы с папой так гордимся, что выбрали тебя. На тебя все будут смотреть».

Музыка, свет, голос ведущей. Я сделала шаг вперед — и вдруг запнулась о край ковра. Упала. Не красиво, не театрально, а глупо, боком, коленом прямо об острый угол ступеньки. Кожа лопнула мгновенно, кровь потекла по ноге, закапала на белые гольфы. В зале ахнули. Кто-то встал. Кто-то засмеялся — не зло, а от неожиданности. Воспитательница бросилась ко мне.

Но быстрее всех была мать.

Я не поняла, как она оказалась рядом. Только что сидела во втором ряду и вот уже закрывала меня собой от зала, заставляла от чужих глаз, крепко сжимала плечо и шипела прямо в ухо, сквозь зубы, почти беззвучно, но так, что каждое слово впивалось под кожу:

— Немедленно убри слезы. Быстро. Испортишь лицо. Ты

обязана закончить выступление. Не ной, я тебе сказала. Что люди скажут? Тебя камера записывает. Как я потом покажу это нашим родственникам? Мы с папой так гордились, что именно тебя выбрали. Сейчас я обработаю рану, и ты пойдешь и продолжишь выступление. Ты все поняла?

Я смотрела на свою разбитую коленку, на кровь, на гольфы, которые уже не отстирать, и молча кивала. Я не заплакала. Я дочитала стихотворение до конца — громко, четко, с выражением. Зал аплодировал. Мать потом говорила родственникам: «Видите, какая у меня дочь — упала, а выступила. Характер». И только коленка еще неделю ныла под повязкой, напоминая, что боль и стыд — это одно и то же.

Вот и все.

Вот и приехали.

Я почувствовала, как внутри у меня что-то сжалось — резко, до боли, как от судороги. Не удивление. Не обида даже. Скорее старая, давно знакомая злость, от которой сначала холодеют руки, а потом делается слишком тихо.

Я отвернулась и молча взялась за вторую штору.

Дальше мы работали почти без слов.

Ткань цеплялась за пальцы. Крючки не хотели входить в петли. Карниз был неудобный, руки уставали, спина ныла все сильнее. Мать снизу то поправляла складки, то говорила: «ровнее», «левее», «ты вообще видишь, что делаешь?», «не так резко», «ну что ж ты такая дерганая».

Я уже не отвечала.

Отец за все это время только один раз поднялся и сказал:  
— Может, я помогу?

И мать тут же отрезала:

— Уже не надо. Мы сами.

Он постоял секунду в проходе, словно раздумывая, имеет ли смысл настаивать, потом кивнул и ушел обратно в свою комнату.

Я проводила его взглядом.

Вот так всегда.

Не плохо.

Не жестоко.

Просто никак.

Когда шторы наконец повисли, в комнате сразу стало темнее и как будто душнее. Екатерина Александровна отошла на шаг, прищурилась, оценила результат и кивнула:

— Ну вот. Если бы сразу нормально взялись, давно бы сделали.

Я спустилась со стула и почувствовала, как ноги на секунду отозвались ватной слабостью.

— Чай будешь? — спросила мать уже почти обычным голосом.

Вот эта способность переключаться поражала меня с детства. Как будто ничего не было. Ни уколов, ни злости, ни слова «позориться». Просто теперь другой раздел программы: чай.

— Буду, — сказала я.

Потому что сил спорить не осталось.

На кухне было тепло. На плите стояла кастрюля с тушеной капустой, рядом тарелка с оладьями, накрытыми полотенцем. Мать налила чай в большие белые кружки с золотой каймой, поставила на стол вазочку с вареньем и сахарницу.

— Ешь, — сказала она. — На тебя смотреть страшно.

Я села.

Передо мной поставили тарелку с оладьями.

Пахли они вкусно — маслом, яблоками, чем-то домашним и теплым. От этого запаха внутри вдруг поднялась такая голодная пустота, что на секунду потемнело в глазах.

Я взяла одну оладью. Потом вторую.

Мать смотрела.

Не пристально. Хуже. Боком, как будто не следит, а просто замечает.

— Только не все сразу, — сказала она между делом, размешивая сахар. — Вечером тяжелое есть вредно. Особенно тебе. У тебя организм склонный.

Я замерла с куском во рту.

И все.

Аппетит исчез.

Не сразу, не красиво. Просто как будто внутри шелкнул замок, и все теплое, живое, голодное снова спряталось.

Я медленно положила оладью обратно на тарелку.

— Что, уже наелась? — спросила мать.

— Угу.

— Ну как хочешь. Потом не жалуйся, что сил нет.

Я сделала глоток чая.

Сладкий.

Горячий.

Густой от заварки.

На секунду стало легче.

Потом я подняла глаза и увидела в темном окне свое отражение: бледное лицо, прямые плечи, напряженный рот.

И на миг мне показалось, что за моим плечом в стекле мелькнуло что-то маленькое, тонкое, с темным, злым взглядом.

Я резко обернулась.

Никого.

Только занавешенное окно и кухня, в которой мать что-то говорила про соседку снизу, отец шуршал газетой в комнате, а чай остывал в кружке.

Я снова посмотрела в стекло.

Только свое отражение.

Конечно.

Но аппетита больше не было.

Вообще.

## **Глава 7. Пять килограммов**

О том, что я набрала вес, я поняла не сразу.

Просто однажды утром, в начале апреля, я стояла перед зеркалом в общежитской комнате, натягивая джинсы, и вдруг поняла, что молния идет вверх как-то не так. С уси-

лием. С паузой. С тем унизительным маленьким сопротивлением ткани, которое замечаешь не телом даже, а самолюбием.

Я замерла, держась за собачку.

Потом резко втянула живот и застегнула джинсы до конца.

Ну вот.

Значит, не показалось.

Я выпрямилась и посмотрела на себя в зеркало.

Все было, как всегда. Или почти, как всегда. Ноги те же. Талия на месте. Свитер сидит нормально. Лицо, может, чуть круглее или это от света. Или от недосыпа. Или просто кажется. У меня давно уже все казалось. Либо слишком большим, либо недостаточным, либо неправильным.

Я отошла на шаг.

Потом вернулась ближе.

Подняла свитер выше, рассматривая живот.

Нормальный живот.

Живой.

Не плоский, конечно, как на картинках у фитоняшек, у которых вся жизнь, видимо, состоит из освещения, пресса и ненависти к макаронам, но и не катастрофа.

И все равно внутри что-то неприятно сжалось.

Я резко опустила свитер, будто поймала себя за чем-то непристойным, и полезла под кровать за весами.

Весы были старые, белые, с желтоватыми следами времени по краям. Их когда-то оставила предыдущая соседка, и с

тех пор я пользовалась ими редко, не потому что не интересовалась, а потому что не видела смысла измерять очевидное. Если с тобой все в порядке, это видно по жизни. По тому, как сидит одежда, как на тебя смотрят люди, как ты сама помещаешься в собственный день.

Но сейчас смысл был.

Я поставила весы на середину комнаты, выровняла их ногой, встала.

Цифры моргнули.

Замерли.

Я не поверила.

Сошла. Встала снова.

Те же цифры.

Плюс пять килограммов.

Пять.

Не один. Не полтора. Не «что-то ты отекла перед месячными, успокойся и иди жить». Пять полноценных, тяжелых, чужих килограммов, которые где-то уже были на мне, а я даже не заметила.

Я слезла с весов и присела на край кровати.

Соседка, Лера, еще спала, отвернувшись к стене и выбросив из-под одеяла одну голую пятку. За окном блекло серело утро. Из коридора уже тянуло кашей, духами и мокрой шваброй. Обычная жизнь общежития начиналась, как всегда, независимо от того, сколько вешишь ты.

Пять килограммов.

Я повторила это про себя так, как повторяют диагноз.

Пять килограммов.

Вот почему джинсы. Вот почему лицо. Вот почему, может быть, Петр в последнее время смотрит чуть иначе. Вот почему на кафедре Марина Викторовна вчера сказала: «Ты как-то округлилась, Инна, весна тебя красит».

Тогда я только хмыкнула и ответила что-то про процветание на одной стипендии.

Теперь стало ясно.

Не процветание.

Распущенность.

Я встала и подошла к зеркалу снова.

Пять килограммов не могли возникнуть из воздуха. Это не было несчастьем. Это было следствием.

Следствием чего?

Того, что я слишком много ела после смен. Того, что пила сладкий чай. Того, что «разок можно». Того, что перестала следить. Того, что стала мягкой. Ленивой. Жалкой.

Я стиснула зубы.

Вот он, оказывается, какой у меня «просто стресс».

Вот так выглядит «да я потом разберусь».

Тело, как всегда, оказалось ненадежной скотиной. Стоило хоть немного отпустить поводья, и оно тут же поперло вширь, вниз, в слабость, в жир, в то самое, от чего я всю жизнь бежала как от позора.

Я открыла шкаф.

Достала из верхней полки черную тетрадь в клетку, куда когда-то записывала режим подготовки к экзаменам. Полистала. Выдрала несколько старых страниц с пометками про билеты и клинические задачи. Села за стол.

На первой чистой странице написала сверху:

## ПИТАНИЕ

Потом подумала и зачеркнула.

Слишком мягко.

Ни о чем.

Ни к чему не обязывает.

Ни от чего не спасает.

На следующей строке вывела:

## КОНТРОЛЬ

Вот.

Это уже было похоже на правду.

Под словом «контроль» я быстро, почти зло, начала расписывать:

вес сегодня;

цель;

калории в день;

что исключить;

что оставить;

сколько воды;

шаги;

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.